



“Мы формировались во времена отрицания”

Интервью Михаила Тарусина Борису Докторову

Мне было очень интересно беседовать с Михаилом Тарусиным, представителем нового поколения, мало мне знакомого и еще слабо представленного в историко-биографических исследованиях становления и развития постхрущевской советской / российской социологии. Во-первых, для меня приоткрылась еще одна судьба действующего социолога, в которой обнаруживается много типичного для москвичей (жителей крупных городов), родившихся в середине 50-х годов. Во-вторых, наметилась возможность сопоставить жизненные траектории социологов разных поколений. И если я и раньше подозревал, что поколения российских социологов различаются своими базовыми воззрениями на окружающий мир и политическими идеалами, то теперь я в этом нисколько не сомневаюсь.

Мы знакомы с Мишей с конца 80-х годов, работали в “старом” ВЦИОМе, но последние 15 лет не общались – была лишь одна случайная встреча несколько лет назад. И мне казалось, что это может быть препятствием к обсуждению биографической темы. Рад, что такого рода трудностей не возникло... как и каких-либо других.

Борис Докторов

Миша, ты москвич? Расскажи немного о твоей семье.

Я москвич в пятом поколении, то есть примерно с середины XIX века. Семья у меня гуманитарная: мама – преподаватель литературы, дедушка и бабушка – юристы по профессии, люди очень широкого, глубокого классического русского образования еще XIX века.

Дедушка – потомственный русский дворянин по роду с XVI века, до тех пор предки его были шляхтичи, перешедшие на службу к русскому государю. На улице Немецкой до сих пор стоит

особняк, построенный по проекту Казакова, в котором дед провел свое детство.

Мать деда была немка из Пруссии, а со стороны отца польская кровь сочеталась с эстонской – бабушка моя родилась в Эстонии. Так что кровей в нашей семье намешано много. Но в России не кровь определяет человека, а принадлежность к земле русской, к ее истории, языку, культуре.

Дед, получивший образование в Москве, в лицее для привилегированного сословия, а до этого учившийся в Мюнхене, а потом в Лондоне,

был человеком энциклопедических знаний. В доме витал дух русской литературы “золото-го века”, да и “серебряного” тоже. Этот дух, кстати, не предполагал особого уважения к советской власти – вечером все садились у большого лампового приемника и слушали сквозь шипение “глушилок” радио Би-Би-Си с комментариями умного и ироничного Анатолия Максимовича Гольдберга.

Дед слушал радио и на немецком, и на английском, которые знал в совершенстве. Как-то, прохаживаясь по Гоголевскому бульвару, он от скуки прочел лекцию группе англичан о Гоголе (те глазели на памятник, а гид молол какую-то ахинею), и англичане спросили деда, как давно он живет в России. Дед был польщен, ибо говорил на том языке, на котором говорили в Англии еще в конце XIX века.

Мама преподавала в МГУ литературу того самого XIX века, была в университете звездой, и когда я приходил на ее лекции, то почтительно именовался “сын Натальи Сергеевны”. По сути, эта самая литература так погрузила меня в XIX век, что многие литературные герои были для меня людьми гораздо более реальными, чем окружающие.

Ощущаешь ли ты принадлежность к семье, имеющей столь долгую историю? Что означает для тебя это чувство?

Я всегда видел смысл свой в принадлежности к семье, но не поколенческий, а духовный, заключающийся в той незримой культурной связи, что

Я всегда видел смысл свой в принадлежности к семье, но не поколенческий, а духовный, заключающийся в той незримой культурной связи, что образует живую нить времен

образует живую нить времен. Именно оттого век XIX, в котором родился мой дед и в котором живут мои милые литературные друзья, был и есть для меня век самый уютный.

Век XX для меня – эпоха тяжелейших испытаний и трагедий, век ухода самых главных людей мо-

ей семьи – деда, мамы, бабушки. Семья для меня была нравственной основой жизни, и после прощания с ней я остался один.

Тут возможна ремарка. Я как-то был в пустом деревенском северном доме (это был музей) и поразился тому, как осмысленно там обустроенное пространство. Изба – это не просто изба: там есть “небо”, горизонталь – куты, закуты, светлицы, “земля” – низ пространства, протяжение икон через всю заботу дома; есть хозяйственные отделы. Но главное – в том, что весь дом подобен космосу, где все и всё знают свое место и свой чин. Это складывалось веками, и это и есть великая нравственно осмысленная русская крестьянская культура.

Вот если понятно, что я сказал, такой же была и моя семья, покуда были живы ее представители из того, далекого уже для нас, XIX века. До сих пор я часто поступаю так, как если б спросил у моего деда, а он бы мне ответил. А ежели я поступаю иначе, мне, как правило, бывает очень стыдно за совершенное.

Что ты вспоминаешь о твоих школьных годах?

Собственно, большая домашняя библиотека (около 5000 томов), составленная из книг дореволюционной печати, и испортила мои отношения со школой. Книги без ижицы и ятей казались мне голыми и простоватыми. Литературу и историю я знал хорошо, и школьная программа была мне неинтересна, а в естественных науках оказался полным дебилом, и учительница химии писала в дневнике, что голова моя набита соломой. В целом я был троечником, физически не мог учить то, что мне не нравилось, терпеть не мог пионерский галстук и даже сумел избежать комсомола.

60-е годы принесли с собой возрождение поэзии, появление молодого поколения – тех самых шестидесятников, которые не строили коммунизм, а искали смысл жизни. Твист, узкие нейлоновые галстуки, эра магнитофонных записей, появление самиздата, который в нашей семье не переводился. В нашей квартире бывал А.И. Солженицын, он приходил к соседке, известному впоследствии цветаеву Анне Александровне Саакянц, которая дружила с мамой.

Солженицына не пускали в “Ленинку”, и мама с тетей Аней ходили туда и собирали материал для “Архипелага”.

Какими соображениями ты руководствовался при выборе профессии?

Поскольку было ясно, что и я гуманитарий, и семья гуманитарная, я выбирал что-то в этой области... Литературу я и так хорошо знал – чему мне еще там учиться? Историю я тоже очень любил, но мне казалось, что там нет особого поля для деятельности. А вот любомудрие... любомудрие – да, вот это мне казалось очень интересным. И я решил, что, конечно, философский факультет – самое замечательное место, поскольку все-таки там собираются люди умные (а я там бывал еще подростком, на какие-то семинары ходил). Я действительно не ошибся в своих ожиданиях, потому что и ребята очень интересные попались. На первом курсе у нас сложилась четверка “поручиков”: мои друзья Парфенов Володя, Володя Чернявский, Виктор Ларкин, царствие небесное ему...

Как сложилась профессиональная жизнь твоих друзей?

Четверка наша отличалась начитанностью, нигилизмом и храбростью. На семинарах, даже лекциях любой из “поручиков” мог вдруг вскочить и выговорить преподавателю за косность его позиции или неверное толкование какого-либо философского постулата. К чести последних, они вступали в дискуссию открыто, даже с удовольствием. Так, А.Л. Никифоров, блестящий ученый и лектор, хитро поглядывая на Парфенова, уже принявшего стойку поинтера, нарочно провоцировал его и добивался своего, к удовольствию всей аудитории. Он затаскивал нас к себе домой, естественно – на кухню, где мы пили портвейн и решали проблемы понимания, ревидовали марксизм и говорили о Боге. В самые оживленные моменты дискуссии Никифоров вскакивал и начинал прохаживаться, потирая руки и приговаривая: “Так, так, так!”

Сегодня, по прошествии почти 30 лет, не могу сказать, что жизнь нашей четверки сложилась счастливо. Только мне нечего Бога гневить, ко мне судьба милостива, а друзей моих ждали тяжкие испытания, которые для одного из них уже

закончились, а остальных еще проверяют на прочность. Но я могу сказать, что они остаются людьми чести, какими и были всегда.

Ты сказал, что ваша четверка именовала себя “поручиками”. Почему?

Как-то мы так друг друга стали называть... Нам хотелось, наверное, романтики – в отношениях не только друг к другу, но и к жизни, и к женщи-

Век XIX, в котором родился мой дед и в котором живут мои милые литературные друзья, был и есть для меня век самый уютный

нам, к окружающей действительности... немножечко от нее дистанцироваться. И мы присвоили себе старорежимные звания.

Когда я благополучно проучился два курса, встала проблема: собственно, что делать дальше, какая специальность? Я понял, что этим всем марксистским безобразием я просто физически не могу заниматься – ни политэкономией, ни диалектикой. Для зарубежной философии или кафедры логики у меня просто откровенно не хватало мозгов, я просто не тянул и чувствовал, что это не мое. Меня интересовали живые люди – не отвлеченные идеи, а живые люди.

Социология – это была, наверное, единственная... ну, или одна из немногих, скажем так, дисциплин на философском факультете, практически без идеологической подоплеки. Я выбрал кафедру “Методика конкретных социологических исследований”. Специализация начиналась с третьего курса. Я поступил в МГУ в 77-м году, и с 79-го года я уже специализировался на этой кафедре. Мне друзья говорили: ты что, с ума сошел? Ну какая у нас в стране социология? У тебя работы не будет, заработка не будет – у тебя ничего не будет. У нас же нет социологии, это так просто, для самых отбросов сделали кафедру. Действительно, кафедра считалась самой неперспективной в смысле будущей карьеры, и народ там был самый нечестолобивый. Зато эта кафедра была лишена идеологических прыщей.

Что вам читали? Кто? Какое это все оставило впечатление?

На кафедре люди были малоизвестные и в голове не отложились.

В основном методике социологии и читали, знакомили с классиками западной социологии, хотя порой очень осторожно и с оглядкой – подобные вольности тогда были опасны. А вот общие курсы читали такие зубры, как Чанышев, Мельвиль, Никифоров. Это все были личности.

Большая домашняя библиотека (около 5000 томов), составленная из книг дореволюционной печати, и испортила мои отношения со школой. Книги без ижицы и ятей казались мне голыми и простоватыми

Арсений Николаевич Чанышев ходил походкой бегемота и имел такую дикцию, что понять его можно было только с первых рядов большой поточной аудитории. Профессор Юрий Константинович Мельвиль был эстет: волнистые седые волосы, зачесанные назад, голубой пиджак, платок, повязанный на шее вместо галстука, и изысканная речь. Александр Леонидович Никифоров одевался небрежно и выказывал полное безразличие к внешности, демонстрируя рассеянность, присущую очень глубоко задумывающемуся человеку. Все они читали свои предметы (диалектический материализм, историю зарубежной философии, исторический материализм, античную философию и т. д.) блестяще, каждый в своей манере. И это разнообразие умов и интеллектов, несомненно, много давало нашим сыроватым мозгам.

Ты – дипломированный философ и профессиональный социолог с большим стажем. Мог бы ты сформулировать твое сегодняшнее отношение к марксистской философии и сказать о ее будущем в российской социологии?

Марксистская философия при достаточно скудном внутреннем багаже, невнятном понятийном аппарате, отсутствии талантливых

адептов и последователей умудрилась принести столько бед, как ни одна другая. Как Блок видел, по выражению Бердяева, не Его, но подделку, “обезьяну”, так и в марксистской теории увидели Царство, но не Божье, а земное. И соответственно, дальше началось “обезьянство”, поскольку в Царствие Божье никого никогда силой не тащили, а здесь все наоборот – силой да кровью.

Вероятно, есть некое объяснение, почему именно на русскую почву лег этот фантом: справедливость в русском обществе всегда была образом высшей правды, град Китеж прочно сидел в сознании веками. Когда же большевики поманили растерзанное общество социальной справедливостью, вот он и вырос из вод – град Китеж. А требуемая за него плата – жертвенность – опять же в нашей натуре.

Не мог бы ты припомнить, в МГУ вам рассказывали о ранней советской социологии или все начинали с работ шестидесятников?

Я-то читал и Питирима Сорокина, и русских философов конца XIX – начала XX века: Соловьева, Леонтьева, Бердяева, но нам их, насколько помню, не читали, может, только советовали самим ознакомиться.

Покидая МГУ, ты знал о работах русских дореволюционных социологов? О ком из них ты знал? Как ты сейчас относишься к этому наследию?

Я знал об этих работах, еще входя в МГУ, но по малолетству мало что в них понимал. За университетские годы мы с друзьями их хорошенько разжевали. Эта плеяда мыслителей – конечно, уникальное явление, но сегодня мне кажется, что все они были несколько растеряны от предчувствия рока событий, от их неотвратимости. Вообще их эпоха – это потрясающее и страшное время. Как перед цунами вода отступает далеко от берега, так и в России поверхность быта отошла, обнажив дно и сокровища философии, поэзии, литературы, но лишь затем, чтобы, немного погодя, страшным бушующим потоком смыть все до основания – людей, судьбы, культуру.

Я беседовал со многими социологами, и ты первый, кто “на социолога” учился. Расска-

жи поподробней, что вам читали. Была ли у вас какая-либо практика?

Конечно, давали азы – что такое опросы, какие они вообще бывают, какие методы используются, что такое выборка. Тут даже Гэллап шел в ход. Теорию давали мало, но все-таки представление о Конте, Вебере и прочих мы, насколько я помню, получили. В последний год мы даже делали какие-то опросы среди студентов МГУ разных факультетов – так сказать, впервые вышли в поле. Я тогда ходил с анкетами и опрашивал студентов, живущих в общежитии высотки, на предмет их жизни, планов и т. п.

В студенческой среде тех лет читали самиздат, слушали и обсуждали “голоса” – тебя все это интересовало? Как ты думаешь, это оказывало влияние на тебя, на твоё окружение?

Светлые и романтические 60-е сменились мрачноватыми и какими-то тухловатыми 70-ми. Мы выросли и вместе со всей интеллигенцией переместились на кухни. Табуретки, портвейн, крепкий чай и сигаретный дым – вот декорации того времени. Самиздат гулял по рукам сокровищем, золотыми слитками, часто слепой текст – пятая копирка на машинке – давали на одну ночь. Но у нас скоро появились ксероксные варианты, наша квартира стала центром, откуда Срамиздат, как его назвал Зиновьев, растекался по Москве. Авторханов, Солженицын, Шаламов – это все были наши учителя, и слова их ложились на подготовленную почву – уж как-то резко в стране потушили свет 60-х, и теперь только настольная лампа освещала страницы правды, отпечатанной на ксероксе.

А самое трагичное было в том, что в 70-е мы думали, что советская власть – это еще лет на двести минимум, и осознание того, что вот так ты в этой фальши и официальной идеологической злобе и проживешь всю жизнь, было мучительно. Я тогда и не представлял, что можно будет спрашивать людей о многом – и они будут открыто, не боясь, говорить то, что думают. Это казалось совершенно нереальным. Книги о современной западной социологии, попадавшие случайно, были как манна небесная и оставляли чувство зависти и досады.

В студенческие годы разные поколения социологов по-разному смотрели на социализм. Родившиеся в конце 20-х – начале 30-х думали о возможности улучшения советской системы, родившиеся в годы войны и в послевоенное время, пожалуй, об этом уже не думали, те, кто родился на рубеже 40-х и 50-х, видели необходимость серьезной реформы социализма. О чем думали ты и твои друзья, сидя за портвейном?

Когда “поручики” только собрались на факультете, то позиции имели разные. Парфенов был ревизионистом, у него роились идеи модернизации “развитого социализма”. Чернявский, человек основательный, считал, что надобно раньше разобраться с самим марксизмом, который, может, и был неплохой экономической теорией для своего времени, но как политическая система не “всесилен” и далеко не факт, что “верен”. Ларкин полагал, что если бы система расширила рамки своей идеологии, то, возможно, была бы удобоваримой. Я же стоял на самых жестких позициях, считая, что не имеет оправдания власть, планомерно уничтожавшая собственный народ, и отказывал ей в легитимности. Под влиянием

Когда я благополучно проучился два курса, встала проблема: собственно, что делать дальше-то, какая специальность? Я понял, что этим всем марксистским безобразием я просто физически не могу заниматься – ни политэкономией, ни диаматом

дискуссионных позиций моих друзей менялись, и курсу к четвертому все “поручики” окончательно утвердились в мысли, что советская власть – зло и Божья кара. Но именно поэтому мы не считали целесообразным идти против нее с дреколем – не против же Божьей воли идти?

Тут следует заметить, что в кабинете атеизма была прекрасная духовная библиотека, в том числе святоотеческого предания, и мно-

гие студенты, желая подкрепить свое “просвещенное неверие”, заходили туда и года через два выходили совершенно церковными людьми. Были случаи, когда с философского шли напрямик в семинарию. Я-то крестился раньше, в 14 лет, а друзья мои пришли к Богу через философию.

Креститься в 14 лет – это сильный поступок, особенно в начале 70-х. Ты не мог бы сейчас объяснить мотивы, причины этого деяния?

Тут странное дело. Рядом с нами был морг МГУ. И мы лет в 6-7 бегали туда, чтоб посмотреть через полуподвальные окна на покойников. Как-то оттуда веселый студент-медик протянул нам крестик (видимо, снятый с покойника). Все мои друзья отшатнулись, а я схватил его как великое

Марксистская философия при достаточно скудном внутреннем багаже, невнятном понятийном аппарате, отсутствии талантливых адептов и последователей умудрилась принести столько бед, как ни одна другая

сокровище и долго бережно хранил под подушкой. В этом крестике мне виделся какой-то высший смысл.

Позже, классе в пятом, в учебнике истории все читали про миф об Иисусе Христе. Якобы его выдумали рабы себе в утешение. Не знаю, отчего, но я страшно возмутился, вздохнул и со слезами кричал на преподавателя, что это ложь, и тогда многих неприятно поразил. Опять-таки не могу объяснить причину этой патетики.

И, наконец, окончательно я понял, что мне нельзя жить без Него, в 14 лет, совершенно самостоятельно (в семье нашей разговоров о православии не велось, все были просвещенные интеллигенты). Крестился тайно, на дому священника о. Вячеслава, который вошел в мое положение, понимая, что крещение в храме (где совали свой нос в записи о крестившихся сту-

качи) могло навредить мне в моей последующей жизни.

Но после этого я ходил на службы уже открыто и при советской власти, и при иной, делаю это благополучно и до сей поры – Господь своих овец стережет.

Ты и твои друзья учились в элитном вузе, вас учили рассуждать, Вы читали Солженицына, Зиновьева... Как ты полагаешь, ваше отношение к политической системе было позицией меньшинства твоего поколения или его значительной части?

Я все-таки думаю, что наша позиция была крайней – мы считали эту власть преступной и не желали вступать с ней в диалог. Мы не делали карьеру, вступление в партию посчиталось бы несмыслаемым позором, да и на людях мы не очень-то молчали – в целом говорили что думаем. Наверное, к тому времени и власть уже ослабла, и стукачи обленились, так или иначе, нам все сходило с рук.

Что было окрест? Не скажу, что было единодушное неприятие системы. Была апатия, равнодушие уставших от забот, бедности, партийной брехни людей. Наше поколение – тоже ведь не монолит: наиболее светская, образованная его часть все прекрасно понимала, особенно после Олимпиады, когда в Москве на две недели наступил почти коммунизм (по крайней мере, в ассортименте магазинов), а потом опять вернулся родимый социализм без колбасы, но с несчастным Брежневым, еле ворочавшим языком на пленумах.

Менее сообразительная часть нашего поколения полагала, что здесь, конечно, не сахар, но “там” еще хуже – вон, телевизор посмотри, чего творится в мире.

Самые неприятные представители нашего поколения – циничные и наглые комсомольцы-вожаки, карьеристы, люди с цепким взглядом и чистенько одетые. Многие из них сейчас сидят в кабинетах высоких, в креслах глубоких и рассказывают, как они боролись с советским режимом. Кстати, возможно, это и вправду они его развалили – уж больно прытки были тогда.

Окончание см. на стр. 69 →

→ *Окончание статьи.*

В чем ты специализировался, на какую тему писал диплом?

Диплом я писал на тему “Сравнительный анализ социально-психологического климата трудовых коллективов” с упором на влияние социально-психологического климата (СПК) на производительность труда. К тому времени (1982 год) я уже работал младшим инженером во ВНИСИ и сравнивал коллективы опытного производства института. В дипломе не было ни одного упоминания ни Ленина, ни Маркса – по той причине, что ни тот, ни другой о СПК ничего не написали. Тем не менее за отсутствие таковых упоминаний мне снизили балл – поставили, говоря по-школьному, “четыре”. Я посчитал это удачей, поскольку сначала диплом вообще не хотели принимать к защите.

Не хочу сказать, что социология разочаровала меня после окончания университета. Это было начало 80-х, когда экономика особенно не развивалась, – вот и придумывали разные способы, как ее подтолкнуть. И придумали: научная организация труда – НОТ, СПК, ПТА – профессионально-трудова адаптация, бригадный метод, КТУ... Все эти аббревиатуры я еще с тех лет помню... И насадили социологов на заводах. Чуда они, конечно, никакого не совершили, но умудрились таки откровенно дурить головы начальникам – и средним, и высоким: делали умные отчеты, рассуждали на какие-то очень умные темы...

Мне кажется, что ты несколько игриво относишься к заводской социологии... или я ошибаюсь? Ведь в те годы это направление мощно развивалось.

Как я уже говорил, ВНИСИ был подотраслевым институтом, в его научном обеспечении находилось что-то около сорока пяти заводов и три производственных объединения. К тому времени на каждом заводе уже сидели заводские социологи – не пойму, откуда столько набрали? – и не знали, что делать. За редким исключением вроде Якова Лазаревича Эйдельмана из Владимира. Потрясающий мужик, замечательный, умница и профессионал настоящий – он был на голову выше всех остальных, и мы к нему тянулись. Так его и звали: мэтр. И я у него научился очень

многому. Он создал не только целую службу, но и чуть ли не школу заводской социологии.

Харьковский социолог Юрий Львович Неймер тогда готовил гигантский проект по “социальной паспортизации”, которая должна была охватить все министерское хозяйство. Каждый завод должен был заполнить здоровенную книгу с таблицами объективных производственных показателей, а рабочие, ИТР и служащие – заполнить личные анкеты. Затем анкеты обрабатывались на ЭВМ ЕС-1030, которая стояла в нашем институте. Пачки перфокарт приносили ко мне и сваливали на стол – я смотрел на них со священным ужасом. Потом данные со всех заводов подотрасли плюсовывались в одну книгу. Это было

Табуретки, портвейн, крепкий чай и сигаретный дым – вот декорации того времени. Самиздат гулял по рукам сокровищем, золотыми слитками, часто слепой текст – пятая копирка на машинке – давали на одну ночь

невыносимо – сидеть часами, днями, неделями и складывать числа из 6–8 знаков. Пользовались мы при этом первым советским калькулятором “Электроника”, еще на лампах, – когда нажимаешь кнопку “Итог”, он думает секунду-другую. А в шкафах стояли счетные машинки прежней жизни – “Фениксы”, с ручкой-крутилкой на боку.

Когда я сдал “социальный паспорт” подотрасли, который отнял года полтора-два жизни, оказалось, что все паспорта будут сливаться в паспорт отрасли, что и было сделано. Не знаю, зачем все это сливалось. Получалась средняя температура по отрасли, и никто из начальников не понимал, что с этим талмудом делать.

Кроме этого, служба Ю.Л. Неймера, в которую я входил как профессионал, социолог подотрасли, занималась социально-профессиональной адаптацией, анализом внедрения бригадного метода, КТУ (коэффициента трудового участия), организацией социологических служб на заводах и с особым удовольствием – организацией семинаров в очень приличных местах.

Кроме Харькова, помню, они проводились во Владимире, в Суздале.

Я не очень понимаю, был ли в целом какой-то толк от социологов на заводах. Вероятно, там, где сидели люди знающие, – был. Но такие, безусловно, составляли меньшинство, а прочих директора воспринимали как обиду. Конечно, производительность труда заводская социология не подняла, да и не могла поднять, но, видимо, какую-то роль порой выполняла.

Но скорее всего, в той лаборатории платили мало для московского молодого человека?

Дело в том, что я особо-то и не жил на зарплату в этом самом ВНИСИ. В начале 80-х сдружился с ребятами, которые в Москве занимались укреплением дверей в квартирах. Ходили такие бригады, звонили в дверь и говорили: здарсьте, сегодня в вашем доме проводится работа по укреплению дверных коробок, замков и так далее. Это было ИТД – индивидуально-трудова деятельность. Я был “съемщиком”, то есть должен был позвонить в дверь и уболтать растерянного хозяина квартиры. А это было время, когда еще в подъезд можно было войти и в квартире дверь открывали без всяких этих глазков. Стоила укрепка двери 30 рублей. Так мы зарабатывали. В среднем я получал где-то примерно 600–700, а иногда и 800 рублей в месяц...

Действительно, в те годы это были большие деньги...

Да, очень, плюс 150 рублей на основной работе. Это больше, чем зарабатывал министр союзного значения. Это была моя вторая жизнь, причем мне надо было выйти на работу два раза вечером в будни и один полный выходной. Но зато я мог чувствовать себя достаточно независимым человеком, во-первых, а во-вторых, с большим удовольствием поил своих друзей, которые как были бедными, так, в общем-то, ими и оставались после окончания института. Ну, получали они зарплату 150–160 р., у кого-то там – 180. Я приглашал к себе большое количество народу, мы затаривались и очень хорошо сидели – с московскими разговорами. А заводская социология надоела мне так года через три окончательно, бесповоротно. Я понял, что все, уже в ней делать нечего, и захотелось чего-нибудь более светлого

и радостного. К тому же замышлялась вторая волна “социальной паспортизации”, а я точно знал, что ее не выдержу, она меня накроет навсегда. И я поспешил покинуть корабль светотехнической подотрасли, пока цунами был еще далеко.

И что потом?

Не помню даже, кто мне предложил работу в другом проектно институте – “Типротейтр”. Контрра эта была для меня совершенно непонятной. У меня “типро” ассоциировалось с “гидро”: почему-то я решил, что это то ли водный театр, то ли еще что-то, связанное с водой. Но мне это было не очень-то и важно, ну “типро” или “гидро” – ради бога, театр и театр... Почему театр, я тоже не задумывался. Это было громадное здание на Суворовском бульваре, обшарпанное, бывшие коммуналки, где ходили важные бородатые довольно молодые ребята, очень интересные со всех точек зрения дамы, а названия отделов было абсолютно невозможно прочесть – какие-то длинные аббревиатуры. Я попал в отдел разработки компьютерных игровых программ. Это был полный бред, но поставлено на широкую ногу – там было два психолога, я как социолог... Видимо, речь шла о каком-то анализе воздействия игр на сознание.

В “Типротейтре” я познакомился с молодой, очень красивой и очень умной женщиной – Леной Петренко. Она, как потом выяснилось, взяла меня на заметку – видно, больно горлопанист был. Именно Лена привлекла меня на какие-то серьезные семинары, на которых я, по правде говоря, чувствовал себя полным ослом.

В своем отделе компьютерных программ мы, в общем, валяли дурака, но малина эта продолжалась недолго. Видимо, какой-то начальник наверху, насупленно просматривая штатное расписание, поднял бровь и спросил: “А это еще что такое?” – и росчерком пера ликвидировал наш нелепый коллектив. А меня жизнь занесла в Институт культуры.

В том институте работали Я. Капелюш, В. Чеснокова, В. Сазонов... сильная команда. Чем ты там занимался? Что тебя там не устраивало?

Как раз та жизнь была очаровательна. Это был не институт, скорее клуб по интересам. Ты еще не упомянул Леонида Григорьевича Ионина – он

был там замдиректора. Собирались два дня в неделю в старинном особняке, обсуждали умные, приятные вещи с умными, интеллигентными людьми. Культура!

Я стал заниматься народными театрами, поскольку сам играл когда-то в одном из них почти три года. Но все же тянуло меня к масштабным национальным исследованиям. Общество бурлило: перестройка, какие-то социальные массивы в горных краях общества начинают движение – а мы тут с культурой. Оно, конечно, приятно, и беспокойства никакого, но... И когда Лена Петренко позвала меня во ВЦИОМ, я ни секунды не колебался. Вот оно, впервые в истории Совдепии – масштабные, всесоюзные опросы общественного мнения! Чувство было такое: ну теперь-то мы все и выясним! И миру все объясним. А главное – сами себе. Вопросов-то к тому времени накопилось много. Направление моих мыслей было такое: я хотел понять общество. Его движения, структуру, устремления, короче – жизнь народа, в котором я родился и живу.

Думал ли ты в те годы о своем направлении исследований? О работе над диссертацией?

Направление исследований? Изучение общества в его целостности. Какие мы есть и какими будем в XXI веке? И будем ли? Этот вопрос не праздный – сегодня очевидно, что и весь развитый мир задается тем же вопросом и имеет свои сценарии на этот счет. А какой сценарий имеем мы? И какой багаж остался у нас от 1000 лет прошлой жизни? Какое наследство есть у нас сегодня, и вообще – вступили ли мы в права наследования или же решили идти далее налегке?

Но о диссертации никогда не думал, не видел в ней смысла. Работа – это интересно, а писать только для того, чтобы потом тебя называли “кандидатом”?..

В каком году ты пришел во ВЦИОМ? Чем тебе пришлось там заниматься?

В 85-м году у многих создалось впечатление, что что-то такое должно случиться, – как пел Окуджава, “ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет”.

По крайней мере у меня было такое чувство, что началось дуновение какой-то новой эпохи.

В 89-м году во ВЦИОМе наступила самая, пожалуй, счастливая пора в моей трудовой деятель-

ности. Все было совершенно необычно. Такого со мной не было никогда. Сидят люди, у которых внутри что-то горит, внутри происходит что-то очень радостное, как в фильме “Я шагаю по Москве”. Там все были счастливы – и наш коллектив, в котором все счастливы. Я понимаю почему. Столько лет все гнобилось, все было под спудом. И эти люди, эти профессионалы, пришедшие сюда, копили силы, думая, что эти силы никогда не пригодятся, так и придется уходить в могилу. И вдруг они оказались востребованы. Они, как Илья Муромец, который 33 года на печке лежал, а потом встал, и с легкостью все можно сделать – и дерево выдрать, и камень отвалить откуда хочешь.

Самые неприятные представители нашего поколения – циничные и наглые комсомольцы-вожаки, карьеристы, люди с цепким взглядом и чистенько одетые. Многие из них сейчас сидят в кабинетах высоких, в креслах глубоких и рассказывают, как они боролись с советским режимом

И, конечно, антураж. Отель! Дом туриста. Чай в номерах, можешь пойти принять душ, который тут же, – пожалуйста. Можешь пройти по коридору, спуститься в бар, а в нем уже сидят сотрудники, и никто не хватает тебя за руку, не тащит к директору и не увольняет за квасево в рабочее время, а, напротив, говорят: возьми себе коньяку и иди к нам, у нас проблема социологическая назрела, сидим и решаем ее. Что-то американское, совершенно такое невообразимое. То есть из этой унылой действительности, этих мрачных коридоров, рож чинуш, совершенно омерзительных, – вдруг сразу в такую атмосферу! Кроме того, Борис Леденев, наш завхоз, выбил посещение бассейна по средам, причем с утра, полагая, что вечером народ уже устал после работы. Татьяна Ивановна Заславская ругалась: что ж такое, в среду никого не найдешь, – потому что весь ВЦИОМ перемещался в бассейн с сауной.

Ну и уходили, соответственно, поздно, работали за дело, как говорится, а не по времени. Это был счастливый период в моей жизни, очень. Хотя в этом было что-то детское, очень много наивного.

А какие вокруг были персонажи! Сидел Ю. А. Левада, сидел как Кутузов, немножечко развалясь, не хватало повязки еще на глаз. Он, кстати, иногда засыпал на совещаниях – его никто не будил, потому что каким-то своим третьим ухом он все нужное слышал. А Б. А. Грушин у меня ассоциировался с Суворовым: невысокий, быстрый, вечно в движении; если вдруг раздавался страшный гром, мы знали: это Грушину что-то не понравилось – и он выражал свое недовольст-

Когда Лена Петренко позвала меня во ВЦИОМ, я ни секунды не колебался. Вот оно, впервые в истории Совдепии – масштабные, всесоюзные опросы общественного мнения! Чувство было такое: ну теперь-то мы все и выясним! И миру все объясним

во. Это титаны, атланты, это снежные вершины отечественной социологии. С этих людей все начиналось в далеких 60-х, на их плечах стоит сегодня российская социология. А если более приземленно – Т. И. Заславская была директором ВЦИОМа, Б. А. Грушин – первым заместителем директора, а Ю. А. Левада возглавлял отдел теории. **Согласен, обстановка во ВЦИОМе в те годы была именно такая. Теперь, пожалуйста, расскажи о своей работе.**

Жизнь мою во ВЦИОМе можно разделить по времени на две неравные части. В первой жизни мы – я, Сергей Новиков и Екатерина Козеренко – под нежным, но твердым руководством Лены Петренко проектировали всесоюзную выборку, а точнее – разные ее виды. Но для этого надо было собрать статистические данные о жителях разных типов населенных пунктов – в республиках, областях и районах. Да рассчитать квоты по полу и возрасту – а они везде разные. А Госкомстат данные свои публиковал в абсолютных ве-

личинах, и их надо было сложить для жителей в возрасте 18 лет и старше и пересчитать в проценты, и привязать к конкретному региону, и согласовать с типом выборки и т. д., и т. п. Я до сих пор считаю, что в Европе эту работу делал бы институт человек из ста, вооруженных сотней же суперЭВМ в течение года-двух. А нас было только трое, как в песне поется. Но мы были молоды, весело злы, мы не знали, сколько для этой работы нужно европейцев, и сконструировали эту выборку в зверски короткие сроки.

Параллельно я, из личных побуждений, писал программу исследования религиозности общества. Программу эту, как и все прочие, долго и придирчиво обсуждали на методическом совете ВЦИОМа. Да, да, это были те времена, когда не строгаи анкеты, как баклуши. Когда писался раздел “проблемная область”, а потом “гипотезы исследования”, а затем разделы “цель и задачи”, “объект и предмет исследования”, “география опроса”, “выборка и организация”, “операционализация основных понятий”, “аналитические задачи исследования” (не путать с “основными”), “научно-практические результаты” и много чего еще. И все это называлось “Программа исследования”.

Сегодня, когда лужают опросы как семечки и проносятся сверхзвуковые проекты, я чувствую себя пилотом дореактивной авиации – скорости небольшие, зато не по приборам идем, а по смекалке да на честном слове. Вот примерно такая была первая жизнь.

А вторая началась в отделе организации исследований. Был отдел из пяти сотрудниц, все строгой ответственности и профессионалы. Я сказал: девочки (многие были старше и опытнее меня), тут не будет никаких начальников, у нас будет коллектив, где ответственность распадается на всех. Другое дело, говорю, что орать будут только на меня, – вот и вся разница между нами. На вас орать не будут, это я вам гарантирую. А в остальном у нас с вами абсолютно равные права, и если кто-то считает, что дело идет не так, братья и сестры, будем всегда все решать вместе.

И вот к нам приносят пачки анкет очередного исследования. Козеренко и Новиков, оставшиеся в отделе выборки, конструируют выборку для всего опроса и для каждого регионально-

го отделения ВЦИОМа – с городами, селами, кварталами и инструкцией по ее реализации. А мы тем временем пакуем анкеты, пишем на посылках адреса и обматываем те посылки скотчем.

То были благословенные времена, когда самой скорой и дешевой почтой были поезда дальнего следования и почтальоны – проводницы вагонов. И вот посылались курьеры, увешанные посылками, на вокзалы к поездам – и ранним утром, и поздней ночью. Крайне важно было, чтобы они тут же отзвонились с вокзала (напомню, без мобильных жили) и прокричали в трубку номер поезда и вагона, да когда будет на месте, да как зовут проводницу. И тут же сотрудница отдела организации садилась на телефон, часами дозванивалась в разные города и республики и сама уже выкрикивала в трубку заветное. Связь телефонная по межгороду в те годы напоминала кадры военного фильма: комбат ревет в полевую трубку что-то насчет снарядов, причем немец через поле его слышит, а на том конце провода – нет. Учтите, что некоторые поезда шли всего ночь (скажем, в Ленинград), поэтому оперативность была необходима.

Периодически посылки терялись, но когда в ту сторону – еще полбеды, а вот когда обратно, уже с бесценным, желанным, ожидаемым общественным мнением в каждой анкете – вот тогда беда. Чаше опаздывал курьер к поезду. Поезд отгоняли на запасные пути, и провинившийся лез в вокзальные “зады”, разыскивая пропавший поезд, а потом еще и искомый вагон – поезда имели вредную привычку менять номера вагонов на пересцепке. Тогда шли в ход особые приметы: толстая такая проводница, нос красный такой, Клава, в розовых гольфах. А Клава заперла вагон и пошла в город за колбасой (сама она из Ижевска, а там колбасы уже пять лет нема). И сидит на бревнышке курьер и ждет ее. И тащится она с пятью батонами “Любительской”, и еще издали орет: “Вовремя приходите надо, жди теперь, пока с делами управлюсь!” Но главное – вот оно, общественное мнение – 150 анкет, бесценный груз. И отдел организации облегченно вздыхает в полном составе, а рядом так же вздыхает ответственный за проект социолог, которому, как только что выяснилось, без Удмуртии – смерти,

и он уже почти готов был принять ее. И так... ну, не каждый день, но в неделю раз-другой – точно.

Были попытки усовершенствовать методу. Я сам искал свежие идеи, но все они разбивались о еще советский быт. Как-то Леденев, наш смекалистый завхоз, нарыл где-то ни много ни мало – фельдьегерскую связь. Это было нечто! К нам в отдел входил гренадер метра два ростом, с непроницаемым рубленным ликом, в щегольской форме, оглушительно щелкал каблуками, отдавал мне честь (оторопевшему патлатому салаге) и вручал пакет с посылкой, за который я расписывался в ну очень солидной книжке. Или забирал пакеты у нас и увозил, как я узнал, на аэродром, где вручал под роспись лично командиру экипажа гражданского или даже военного борта. И тот брал этот секретный груз пустых анкет в кабину пилота и личной головой отвечал за него до рулежной дорожки другого аэропорта, где его ждал такой же детина с таким же каменным ликом. Но эта райская жизнь длилась недолго, сейчас уже не помню почему. То ли затрещал наш бюджет “отправных” денег, то ли сама фельдьегерская служба, прознав, что она перевозит, послала нас куда подальше – правительственная почта, между прочим.

Как-то во ВЦИОМ пришел тихий изобретатель и принес черную коробочку с кнопками и лампочками. Он уверял, что в коробочку можно загнать немереное количество ответов, если настроить ее должным образом. Собрался консилиум, и А. Ослон, технарь по образованию, долго и недоверчиво вертел коробочку в руках. Та игриво подмигивала. В конце концов изобретателя выпроводили. Кстати, в те времена подобных визитеров было немало. Однажды у меня в кабинете появился взъерошенный тип и объявил, что создал систему, по которой можно прогнозировать все. Когда я ошеломленно спросил, кто его ко мне направил, он заговорщически шепнул: “Просили не говорить”. И тут же развернул тетрадь, испещренную графиками и кривыми. Через десять минут я опомнился и сказал: “Вот что, я не по этому делу. Но в конце коридора налево сидит Рывкина – она специалист по прогнозам. Только не говорите, что я послал, у меня с ней напряженные отношения” (ложь

во спасение). Потом я узнал, что доверчивая Инна Владимировна вникала в его систему два часа и после долго выясняла по ВЦИОМу, кто ей подсурипил “этого психа”.

Потянулись напряженные будни, объем исследований возрастал, а нас больше не становилось. Но мы матерели, обретали железную уверенность в себе. И когда нервический социолог-аналитик вбегал к нам с воплем: “Где мои анкеты? Где они?! Где?!!!”, наша Лариса Дацко (или Вера Никитина, или Лейла Васильева, или Нелли Абдулхаерова) спокойно, тоном медсестры говорила: “Когда у нас сдача? Завтра в 12.00? Идите к себе, выпейте рюмочку. Завтра. Все. Будет”.

Это сейчас базы данных летят из города в город со скоростью Интернета, и операторы в центре тихо матерятся по поводу качества ввода. И “перевзвешивают кривые массивы” лихой программой, прямой праправнучкой той первой, которую разработал когда-то на хилой ХТ Сергей Новиков.

Конечно, мы не только анкеты запечатывали в пакеты. Что-то писали, делали какой-то анализ, участвовали в бесконечных обсуждениях, сидели на семинарах, выезжали в города и республики. Короче, жили полной научно-практической жизнью.

Мы немного потеряли счет времени. По-моему, мы подходим к 1991 году – моменту создания ФОМа. Так?

Да, верно. Когда создавался ВЦИОМ, мы думали, что важнейшее дело делаем. Как же мы в демократической стране можем без общественного мнения? Сейчас все кинутся нас спрашивать – и мы всем все расскажем! И вот с этим ощущением я лично прожил где-то год-два. Потом мне начали закрадываться в голову нехорошие подозрения, что не все так просто. Почему-то не кидаются к нам особо. Пишем какие-то отчеты в ВЦСПС, а газеты нас мало печатают, боятся наши цифры печатать: это не будем, то будем...

А ФОМ был создан как некая коммерческая структура при ВЦИОМе – структуре государственной. Каким-то внутренним чутьем я понял, что это начало разделения. И написал тревожное письмо Татьяне Ивановне Заславской на десяти страницах... Потом все случилось, как я на-

писал. Я считал, что разделение одного коллектива на две части, которые работают по совершенно разным основаниям, приведет к расколу сначала психологическому, потом творческому, а затем к расколу организационному. И пока не поздно надо дело это свернуть, надо создать другие формы – благо наш полуофициальный, полугосударственный статус это позволяет.

Ты помнишь реакцию Татьяны Ивановны?

Она согласилась с моими опасениями, но в тот момент она уже, видимо, какие-то шаги сделала и обратно идти не могла, даже если бы очень захотела.

Между тем время шло – мы тогда уже жили на улице 25-го Октября, – и я стал чувствовать, что ВЦИОМ начинает немножечко закисать. И теперь мне показалось, что одним из выходов может стать разделение научной части ВЦИОМа и организационной. Организационную часть лучше передать в Фонд и тем самым сделать ее коммерческой, а научную оставить как было. И на этом можно зарабатывать деньги. Я предложил такой вариант Леваде, который тогда уже был директором ВЦИОМа. Предложение не встретило понимания у Юрия Александровича. А у меня нарастало ощущение, что ВЦИОМ как-то заболачивается. Что-то непонятное происходит, какая-то рутинка идет. И когда А. Ослон начал кампанию за то самое отделение ФОМа от ВЦИОМа, я, не желая оставаться в болотистой местности, пошел с Сашей. Наш уход был оправдан, но, как и при любом разводе-раздоре, было в нем что-то нехорошее, как я сейчас помню.

Состоялось собрание, на котором я по просьбе Ослона должен был выступить – объявить о создании ФОМа с новым уставом. На это собрание пришел Левада. Когда я стал выступать, он поднял руку. Но я сказал: “Юрий Александрович, сейчас я сделаю заявление, потом дам слово всем желающим”. А заявление было такого рода, что, собственно, выступать-то после него было уже не нужно. Он резко встал и с несвойственной ему стремительностью вышел из зала. А у меня осталось чувство, что я что-то сделал нехорошо.

Много лет спустя я зашел во ВЦИОМ, который находился тогда возле Театра Гоголя на Курской. Я шел по коридору и вдруг увидел малень-

кий кабинетик с открытой дверью. Там дремал в кресле Левада, в своей обычной позе. Я зашел к нему, он меня встретил очень вежливо, сказал: “А, Михаил Аскольдович, присаживайтесь, садитесь...” И тогда я искренне попросил у него прощения за тот эпизод в своей биографии. И он, как мне показалось, с облегчением меня простил. Мы пожали друг другу руки. Левада отнесся ко мне милостиво и со снисхождением.

Ты оказался в ФОМе, так?

Да, и началась новая, другая жизнь.

В ФОМе я провел несколько крупных проектов, отозвавшихся в душе удовлетворением. Один из них был для банка “Менатеп”. Большое комплексное исследование, результаты которого я лично читал полтора часа принимавшему этот отчет Владиславу Суркову. Во время моего вдохновенного бубнения он сидел терпеливо и смотрел в окно. Когда я кончил, он спросил вежливо: “Это всё?” – “Всё,” – честно сказал я. И тут же был подписан акт о приеме работ.

Другой раз я сдавал какое-то исследование тоже еще молодому Чубайсу и тоже подпись на акте (чего ради все и совершалось) была скорой. Правда, Анатолий Борисович как-то хитро мне подмигнул и прошелся по поводу нашей объективности, на что я реагировал холодно и надменно.

Я ушел из ФОМа потому, что у меня наступил внутренний кризис. Но тут я хотел бы сделать небольшое отступление.

Еще когда я пошел на кафедру социологии в университете, мне хотелось не просто щупать общество и смотреть на градусник. Тем более что, как мне казалось, отечественная социология так и не выработала свой язык – не просто научный, аналитический, а даже свой разговорный язык, она не научилась разговаривать с обществом. То есть первичный-то разговор, когда снимаешь информацию, – да, а когда она возвращается обществу в виде готового изделия, – нет. Получается как бы вещь в себе, черная дыра. Социология что-то потребляет, что-то всасывает в себя, а выпускает – разве что вечные наборы цифр с какими-то комментариями, что 28 процентов – это больше, чем 14. У меня все больше создавалось впечатление, что это просто потогонная работа по ощупыванию со всех сторон общества. Она мо-

жет быть предметом чьих-то личных пристрастий, но при чем здесь наука-то?

Я, наверное, не понимал, как и многие не понимали, что в 90-е годы невозможно было об обществе ничего толком понять, потому что как таковое оно еще не сложилось. И сейчас еще не очень, да... Поэтому тут, можно сказать, вся отечественная социология оказалась в заложниках у времени. Зато она все-таки за 90-е годы, как мне кажется, нарастила мышцы. Когда постоянно тренируешься, качаешься, левая рука – общественные опросы, правая рука – политические опросы, нога – маркетинговые опросы, какие-то группы мышц накачались.

Почему я из ФОМа ушел? Каждый месяц регулярно цифры, цифры, цифры идут, а ведь это – продукт скоропортящийся. И как ни призывали нас: давайте создавать банки данных, а потом мы динамические ряды построим... что-то они не строятся. Мне надоело печь эти блинчики, одни и те же... что-то во мне надломилось

Почему я потом из ФОМа ушел? Каждый месяц регулярно цифры, цифры, цифры идут, а ведь это – продукт скоропортящийся. И как ни призывали нас: давайте создавать банки данных, а потом мы динамические ряды построим... что-то они не строятся. Мне надоело печь эти блинчики, одни и те же... что-то во мне надломилось.

Я отправился на вольные хлеба, был страшным шакалом. Работал политтехнологом, черным пиарщиком, работал на выборах – на десяти кампаниях или даже больше – и нажрался этим делом по горло.

Может, чуть подробнее скажешь о том периоде? Мне не нужны явки, пароли...

Сначала я сидел, ничего не мог делать. Ел два пакетика китайской лапши в день и курил “Приму” – на другое денег у меня не было. Принципиально сократил до минимума общение со всеми и ушел куда-то там в себя; я в то время был разведен.

И как-то мне звонит мой давний приятель, которого я давно не видел, и говорит: “Слушай, ты что сейчас делаешь?” Я говорю: “Сижу дома”. – “Ну, я понимаю, а вообще?” – “Я вообще сижу дома”. – “А, – говорит, – может, тебе будет интересна такая штука... Ты когда-нибудь занимался предвыборной психологией?” – “Да чем я только не занимался...” – говорю я дипломатично. – “Ну, тогда... Тут выборы губернаторские – не хочешь заняться?” Мы поторговались – деньги были немаленькие, – и я согласился, хотя не представлял себе совершенно, что это такое.

Приезжаю в город, мне говорят: ты будешь персоной нон-грата, тебя никто не должен видеть в лицо, вообще. Так я стал черным пиарщиком.

Что это значит?

Я тоже не знал, что это такое. Нужно было распространять черные пиарные листовки. Мне дали пару наводок, потом я отрыл ребят – местных фашистов. Они потрясающие были. Во-первых, прекрасно организованы, во-вторых, обожают шпионские игры, во все это играют с наслаждением. Потом я от них отказался. Их фюрер был психом – он в ресторане устраивал мне встречи, выставлял охрану за две улицы. А они все бритые, их видно за три версты... Я говорю: “Знаешь что, с твоей конспирацией мы тут засыпемся”.

Потом я нашел ребят-спортсменов. Тоже очень дисциплинированные. Команда была – не помню, по какому виду спорта, – человек пятнадцать. Они у меня эти листовки и газеты проносили в городскую администрацию, во всех туалетах оставляли, во всех коридорах... Трамвай выходит из депо, толпа врывается в него – там уже на сиденьях разложены газетки. Во всех электричках, в троллейбусах...

Что за газетки-то?

Там была газетка вроде бы от лица нашего конкурента, но на самом деле составленная так, что все понимали, что он страшная сволочь. Что-то я сочинял, что-то мне из штаба присылали, уже сверстанное. Причем газеты печатались, конечно, не в этой области, а в соседней, потом конспиративными партизанскими тропами... Сначала трейлер привозил на границу, там приезжали с моей стороны, я сам приезжал на трех

“рафиках”, сгружали, а дальше это развозилось по разным городам.

И сколько лет ты так шакалил?

Это было где-то до 2001 года. Да, еще я был в Ингушетии, на Северном Кавказе ваххабитов видел. Они в машине приезжали и так оценивающе смотрели на меня: добыча я или не добыча? А меня охраняла целая гвардия... четыре автоматчика, все как полагается.

Но настал момент, когда я понял – хватит, дальше этим уже нельзя заниматься. Потому что либо ты должен становиться законченным мерзавцем, либо надо уходить и отмываться после этого дела. Очень долго отмываться. Причем внутренне, что тяжелее, чем внешне. Это гнусные все вещи, очень гнусные.

И какой же общий вывод?

Я понял, что в России колоссальное количество честных, очень хороших людей. И очень бедных. Я подумал: Боже мой, если бы вот эти деньги, которые мы выкидываем на ветер, просто отдать людям... Ты не представляешь! Ты едешь, и дом стоит деревянный – он покосился не просто в сторону, но еще и назад. Он стоит, в двух плоскостях смещенный куда-то, а там светится огонь; двухэтажный барак; и дым идет, и люди там живут в нищете страшной... Но при этом почему-то совершенно нет никакого ощущения падения, конца – нет, нормально живут, работают, с хорошими лицами такими, с такими русскими мордами замечательными... И у меня появилась какая-то вера в эти замечательные, настоящие, спокойные и уверенные в себе лица. Что бы там ни происходило – выживем, ничего, и не такое бывало еще.

Пропустим описание нескольких лет твоей жизни, что-нибудь надо оставить для наших следующих бесед. Где ты сейчас работаешь?

Чем занимаешься?

В 2004 году я начал работать в Институте общественного проектирования (ИНОПе) и снова оказался в непривычной для себя обстановке. К созданию его приложили умы многие достойные и известные ныне люди. Это научный институт нового типа. Он занимается не только настоящим, но и будущим России, причем очень близким и обозримым. Специалисты института ис-

ходят из того, что страну ждет великое будущее, и заняты моделированием возможных сценариев как “светлого завтра”, так и другими, более грустными сценариями, где тень может найти на плетень. Но все же нас отличает социальный оптимизм, который институт пытается внушить не только российскому обществу, но и его политическим лидерам, зачастую забывающим о радужных общественных перспективах в угоду не менее радужным личным.

В советских научных институтах результат был необходим, но никого не интересовал. Мои отчеты никто не читал, но если они не сдавались в срок, громы обрушивались на мою голову. В российских компаниях, занимающихся исследованием общественного мнения, ситуация была иной. Там результат к сроку был важен, но зачастую не представлял собой ничего экстраординарного – ну, думают люди что-то, эти так, те иначе. Правда, в маркетинге подразумевались некие открытия, долженствовавшие поразить заказчика, – недаром же он отвалил свои кровные на фоне падения продаж. Но на моей памяти таковых не случилось. Как правило, клиент уходил даже более озадаченным, чем приходил.

В ИнОПе сроки – дело второе. Никого не интересует, что 37% – больше, чем 14%, и кому эти проценты принадлежат. Нужны инновации на уровне формул, описывающих законы бытия, и пока они не будут вырублены на скале, изволь пыжиться, а время подождет – истина важнее. Один концептуальный текст у нас писался более года, пока не приобрел окончательную форму.

Конечно, тут есть опасность наштамповать формул, да потом с ними и жить – не важно, что жизнь сложнее, да и формулы, как известно, описывают только алгебру, а не гармонию. Но новизна ощущений для меня была налицо, процесс открытий увлекал, тем более что вокруг собрались люди умные, пытливые, исповедующие принцип “по-малому – только кулак отшибешь”. Это и позволило провести крупномасштабное исследование “Стратификация современного российского общества”, которое потом обрело форму книги “Реальная Россия”

(изд. “Эксперт”, Москва, 2005), а также ряд других проектов, часть которых, надеюсь, также выйдет в книжный свет.

Два слова о проекте “Реальная Россия”. Был проведен опрос 15 тысяч респондентов по репрезентативной общероссийской выборке. Такой объем выборки позволил делать серьезный анализ. Но основа этой работы – кластерный анализ по основным параметрам, формирующим общественную структуру: материальное положение, образование и социальный статус. На выходе мы получили семь вполне внятных кластеров, которые, в свою очередь, дробились на одиннадцать подкластеров. Они и составили описание социальной пирамиды, то есть структуры современного российского общества. Параллельно были проанализированы такие параметры общества, как трудовые отношения, престиж профессий, семья, досуг, религия, нацио-

Я всегда подозревал, что тысячелетняя традиция, жившая в душе народа, не может быть окончательно оккупирована одними старушками и что в условиях свободы должен начаться религиозный ренессанс

нальный вопрос, идеология и т. д. Получилось, конечно, галопом по Европам, но лиха беда начало. Книга вышла толстая, кило три весом, так что аргумент в споре серьезный.

Во ВЦИОМе ты начал заниматься изучением религии. Позже тебе удалось развить эти поиски?

Когда я начал заниматься изучением религии – сначала в советском, а потом в российском обществе, – я руководствовался следующими соображениями. Во-первых, мне как человеку православному и религиозному предмет был близок и интересен. Во-вторых, я всегда подозревал, что тысячелетняя традиция, жившая в душе народа, не может быть окончательно оккупирована одними старушками и что в условиях свободы должен начаться религиозный ренессанс.

В-третьих, понятие “верующий” для меня всегда было весьма расплывчатым: я считал, что в нем существует много смысловых оттенков, а определить их можно с помощью инструмента массовых опросов. Чем я и занялся еще во ВЦИОМе, затем эпизодически – в ФОМе и, наконец, целенаправленно – в ИнОПе. Частично результаты этих почти двадцатилетних наблюдений вошли в книгу “Реальная Россия” и периодически появляются в журнале “ФОМа”, за что я очень благодарен его главному редактору Владимиру Легойде, а также Владимиру Гурболикову – второму человеку в журнале, который терпеливо возится с моими небрежными текстами.

Мой вывод таков: ренессанс состоялся. Пусть это не пугает неверующих (а их у нас немало). Религиозные люди – люди не страшные, в лоб крестом никому не закатают, внешне такие же, как и все прочие, а что у них внутри – разговор особый.

Ты говоришь о ренессансе, некоторые социальные философы и социологи рассуждают об угрозе православного фундаментализма. Что ты думаешь по этому поводу?

Тут надо немного знать историю. Христианский фундаментализм уже давно состоялся. В России это произошло в период раскола православной Церкви и старообрядчества. И, заметь, никогда русское старообрядчество не шло ни против общества, ни против государства.

В Европе раскол произошел обратным образом – не во имя сохранения религиозных догм,

Сегодня русская вера ищет и исповедует толерантность, прекрасно понимая, что в условиях многонационального российского пространства и за пределами его договариваться можно, только смирив гордыню и объявив общий мир во имя спасения души всех народов и каждого в отдельности. Господь нас рассудит, а мы сегодня обязаны быть братьями и сестрами друг другу, невзирая ни на какие отличия, поскольку перед лицом Бога таковых нет.

Ты говорил, что жизнь твоих друзей-“поручиков” сложилась грустно, да и ты сам долго метался, искал свое и себя. За три десятка лет до вашей группы на факультете философии МГУ была другая блестящая четверка студентов: Грушин, Зиновьев, Мамардашвили и Щедровицкий. Их времена были покруче ваших и в студенческие годы, и в годы их молодости, но они, отталкиваясь от совсем уже ортодоксального марксизма, смогли найти свои пути. В чем дело? Мне кажется, что суть в среде, но мне интересен твой ответ.

Жизнь моя – не метание, а непрерывная борьба с ленью и нелюбопытством. А параллель твоя интересна – наши учителя отталкивались от ортодоксального марксизма, то есть имели неплохую пружину. Мы же, отринув марксизм изначально, отталкивались от пустоты, поскольку знали только, как не надо. Видимо, 60-е годы, при всей наивности платформы “исправленного” марксизма, были все же утверждающим временем. Мы формировались во времена отрицания. Но отрицание не может быть продуктивным, в нем нет цели, нет опоры, нет смысла. Конец 70-х был периодом некоего окостенения, но живая университетская атмосфера позволяла выживать. Когда же университет закончился, мы окунулись в безвременье, которое особенно тяжело людям амбициозным и эмоциональным.

Конечно, просто было бы все спихнуть на среду (“заела”, мол!) – нет, и личной ответственности никто не отменял. Но все же мне мнится, что ни в одном другом послевоенном поколении не было столько “лишних людей”, как в нашем, “застойном”.

Мы формировались во времена отрицания. Но отрицание не может быть продуктивным, в нем нет цели, нет опоры, нет смысла

но во имя их разрушения. И это тоже достояние истории. Теперь время фундаментализма переживает ислам, что естественно, поскольку и родилась эта религия на семь веков позднее христианства. Формы этого процесса хорошо известны и являются предметом тревоги всего верующего (и не очень) мира.

Гертруда Стайн ошиблась, назвав поколение Хемингуэя потерянным. Не бывает лишних поколений.

Что тебя лично оттолкнуло от марксизма? Его материализм? Базировавшаяся на нем идеология, которая довела страну до 37-го года? Советский тоталитаризм? Я спрашиваю, потому что марксизм является одним из ведущих направлений мировой социологии.

Человек социальный – лишь следствие. Неужели должно думать, что поступки людей определяются внешними критериями? Это и есть глубочайшее заблуждение марксизма. Я долго как социолог спрашивал людей о многом, до отупения всматривался в цифры ответов, пока как-то мне вдруг не открылось – ежели взять все, что мы наопросили, отжать жмых, выяснится, что мы имеем дело с очень умным и очень духовным народом. Я почувствовал, что, ей-богу, есть душа народная. Конечно, истерзанная, униженная, но потрясающе мудрая, добрая и вечная. Как сам

Бог. И это мне дали именно сотни опросов, которые я наблюдал за четверть века своей социологической практики.

Несомненно, в этом обществе, как и в любом другом, есть свои законы развития. Но нельзя их

Несомненно, в этом обществе, как и в любом другом, есть свои законы развития. Но нельзя их измерить одними только социальными или экономическими факторами

измерить одними только социальными или экономическими факторами. Тут все устроено по-другому, гораздо более интересно и неожиданно. Нелепость марксизма – именно в его логике. Знаешь, вот все просчитал человек, все измерил – и вдруг шлепнулся. Лежит и удивляется: “Как это так? Я же все предвидел!”

Не все, милый. Кой-чего забыл. ■

Интервью с упомянутыми в беседе людьми, стоявшими у истоков советской / российской социологии, а также историко-биографические статьи о них Вы можете прочитать в следующих изданиях

М.И. Илле: “За 10 лет «Телескоп» опубликовал не менее 500 статей не менее сотни авторов // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007. № 1. С. 2–7.

Ю. Неймер Динамит в папильотках // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2006. № 3. С. 14–17.

Е. Петренко: “Социологический поворот в моей профессиональной жизни носил несколько мистический характер...” // Социальная реальность. 2007. № 2. С. 79–95.

Капелюш Я.С. (1937–1990). Серия воспоминаний о Я.С. Капелюше // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. № 2. С. 13–21.

Л.Г. Ионин: “Надо соглашаться с собственным выбором” // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007. № 3. С. 2–14.

Т.И. Заславская: “Я с раннего детства знала, что наука – это самое интересное и достойное занятие” // Социологический журнал. 2007. № 3.

Докторов Б. Б.А. Грушин. Четыре десятилетия изучения российского общественного мнения // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2004. № 4. С. 2–13.

Докторов Б. Жизнь в поисках “настоящей правды”. Заметки к биографии Ю.А. Левады // Социальная реальность. 2007. № 6. С. 67–81.